



ЮКИО  
МИСИМА

*Жажда любви*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Юкио Мисима

**Жажда любви**

«Азбука-Аттикус»

1950

УДК 821.521  
ББК 84(5Япо)-44

## **Мисима Ю.**

Жажда любви / Ю. Мисима — «Азбука-Аттикус»,  
1950 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-12940-5

Юкио Мисима – самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и экстравагантным стилем жизни и смерти (харакири после неудачной попытки монархического переворота). «Жажда любви», одно из ранних и наиболее значительных произведений Юкио Мисимы, было включено Юнеско в коллекцию шедевров японской литературы. Действие романа происходит в послевоенное время в небольшой деревушке недалеко от города Осака. Главная героиня Эцуко, молодая вдова, одержима тайной страстью к юному садовнику...

УДК 821.521  
ББК 84(5Япо)-44

ISBN 978-5-389-12940-5

© Мисима Ю., 1950  
© Азбука-Аттикус, 1950

# Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	17
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Юкио Мисима

## Жажда любви

Yukio Mishima

AI NO KAWAKI

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1950

All rights reserved

© А. Вялых, перевод, 2000

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

\*\*\*

«Разве кто-нибудь может представить, как искусно обманывают люди собственное сердце...»

*Юкио Мисима*

\*\*\*

*...и я увидел жену, сидящую на звере багряном...*  
**Отк. 17: 3**

## Глава первая

На днях Эцуко прикупила в универмаге Ханкю две пары полушерстяных носков. Одну темно-синего цвета, а другую – коричневого. Простенькие одноцветные носочки. Ради них ей пришлось проехать почти через всю Осаку и выйти на последней станции Ханкю. Расплатившись за покупки, она тотчас отправилась в обратный путь, чтобы сесть на поезд и поехать домой. Ей было ни до кино, ни даже до чашечки чая, не говоря уже о легком завтраке. Больше всего на свете Эцуко не выносила уличной сутолоки.

Если бы она решилась куда-нибудь пойти, то ей достаточно было бы спуститься по лестнице на станцию Умэда и на метро доехать до станции Синсайбаси или Дотонбори. Впрочем, стоит выйти из универмага и пересечь перекресток, как сразу же окажешься у линии морского прибоя, атакующего в часы прилива окраины мегаполиса под оглушительные выкрики подростков, расположившихся на обочине дороги и наперебой зазывающих прохожих почистить обувь.

Эцуко родилась и выросла в Токио, поэтому Осака была для нее чужой. Какой-то беспричинный страх охватывал ее в этом городе, населенном разношерстными людьми: уважаемыми коммерсантами, люмпенами, фабрикантами, биржевыми маклерами, уличными проститутками, наркоторговцами, служащими, мошенниками, банкирами, местными чиновниками, членами городского совета, певцами – сказителями *гидаю*<sup>1</sup>, содержанками, прижимистыми женами, журналистами, странствующими актерами, официантками, чистильщиками обуви, – не они, не город порождает чувство страха в Эцуко, а, может быть, сама жизнь – та безграничная, переполненная обломками разных судеб, стихийная и грубая жизнь, обладающая свойством, словно море, неожиданно просветляться, приобретая голубовато-зеленый оттенок берлинской лазури.

Эцуко раскрыла сатиновую сумку для покупок и припрятала носки на самое дно. Вспышка молнии полыхнула в открытом окне. Вслед за молнией величественно прогремели раскаты грома. В магазине задрожали стеклянные витрины.

Налетел ветер и со всего маху опрокинул доску объявлений, на которой крепился листок с иероглифами: «Уцененные товары». Продавщицы кинулись закрывать окна. Помещение утонуло в сумраке, отчего казалось, что спираль в электролампе, которая горела даже в дневное время, накалилась еще ярче. Дождь, однако, не торопился.

У Эцуко вспыхнули щеки. Они начинали пылать неожиданно, без всякой причины, будто внутри у нее разгорался огонь. Однако это не было чем-то болезненным. Эцуко потрогала пылающие щеки, ощущая шероховатость ладоней, от природы нежных, но теперь мозолистых и грубых на вид. Щеки горели все сильнее.

В этот момент ей захотелось совершить что-то необычное. Например, выскочить на перекресток и смело окунуться в лабиринт городских улиц. Ее переполняло предчувствие счастья.

Что вселяло в нее эту решимость? Гром? Или купленные носки? Народ не прекращал толпиться между этажами. Эцуко бросилась вниз по лестнице. Она сбежала на второй этаж, со второго на первый, где находилась билетная касса. Она только мельком взглянула на происходящее снаружи. Ливень хлынул стеной. Наступая сплошным потоком, упругие струи дождя заливали тротуар, разбиваясь о мостовую.

Эцуко направлялась к выходу, и с каждым шагом к ней возвращалось обычное ее спокойствие. Она почувствовала усталость и легкое головокружение. Эцуко была без зонтика, поэтому выходить на улицу не решилась. Да нет, не поэтому. Просто ушло ощущение восторга.

---

<sup>1</sup> *Гидаю* — сказ, вид драматического сказа японской эстрады и театра.

Остановившись у выхода, она проводила взглядом внезапно промчавшийся сквозь потоки дождя городской трамвай, который на мгновение заслонил дорожные знаки и магазинчики на противоположной стороне улицы. Дождь усиливался, рванулся к ее ногам, забрызгивая подол платья. Эцуко казалось, что люди нарочно жмутся к ней. Из всех толпившихся она была единственной, кто еще не промок. Ее окружали мужчины и женщины – видимо, офисные сотрудники. Все они промокли до нитки. Одни недовольно ворчали, другие отшучивались, пытаясь сохранить достоинство, несмотря на жалкий вид. Все, задрав головы, смотрели в небо в проливном дожде. Эцуко тоже. Ее сухое лицо затерялось среди других мокрых лиц. Казалось, что трассирующие струи падали на их лица под чьим-то точным прицелом. Вдали грянул гром. В этом шуме закладывало уши и цепенело сердце. Время от времени ревели автомобильные гудки. Станционный громкоговоритель захлебывался обрывками фраз, изрыгая адские вопли вместо человеческой речи, – от всей этой какофонии можно было запросто сойти с ума.

Эцуко вышла из толпы, которая покорно ожидала, когда прекратится дождь, и присоединилась к длинной молчаливой очереди за билетами.

\* \* \*

Станция Окамати на линии Ханкю – Такарадзука находится в тридцати или сорока минутах езды от центральной станции Умэда. Скорый поезд идет туда без остановок. Многие жители Осаки из-за бомбежек покинули город, расселяясь далеко в пригороде, в результате чего население города Тоёнака увеличилось после войны в два раза. Эцуко проживала в деревне Майдэн, в пригороде Тоёнака, префектуры Осака. Впрочем, если быть точным, Майдэн трудно было назвать деревней, но, чтобы купить хоть какой-то товар, да подешевле, нужно было ехать в Осаку, потратив на дорогу чуть больше часа. Эцуко отправилась туда за покупками как раз за день до праздника осеннего равноденствия. Ей хотелось купить для подношения на алтарь фрукты дзамбоа, любимые ее покойным супругом Рёсукэ. К сожалению, в универмаге они уже были распроданы. Движимая угрызениями совести или другими мотивами, она подумала было продолжить поиски в другом месте, но именно в этот момент дождь преградил ей путь. Других дел в городе у нее не было.

Эцуко вошла в пассажирский поезд до Такарадзуки, заняла свое место. За окном по-прежнему хлестал дождь. Стоящий рядом пассажир развернул вечерний выпуск газеты, и запах свежей типографской краски вывел Эцуко из задумчивости. Она украдкой посмотрела по сторонам. Ничего интересного.

Раздался свисток проводника. Тяжело и удрученно дрогнула между вагонами цепь. Глухое скрежетание ее звеньев сопровождалось монотонными толчками. Поезд тронулся вперед. Это повторялось каждый раз, словно ритуал, когда поезд отходил от очередной станции.

Дождь прекратился. Эцуко повернула голову и посмотрела в окно, не отрывая глаз от потока солнечных лучей, рвущихся из облачных провалов к пригородным домам и улочкам. Казалось, к ним тянутся слабенькие и бледные ручонки.

\* \* \*

Своей постоянной вялостью Эцуко походила на беременную. Даже ходила так же, сама этого не осознавая. Да и рядом с ней не было никого, кто желал бы исправить ее осанку. По этой походке ее узнавали издали.

Со станции Окамати она прошла воротами синтоистского храма Хатиман, затем оживленными улочками Комати. Она шла так медленно, что, пока добралась до окраины, опустились сумерки.

В муниципальных домах зажигались огни. Чтобы миновать этот убогий поселок из сотни или более одинаковых крохотных домиков, сдаваемых за одинаковую арендную плату, был более короткий путь, которого Эцуко почему-то всегда избегала. Если бросить случайный взгляд в окно, то можно везде увидеть типичную картину: дешевенький буфет для чайной посуды, низкий столик, радио, напольные муслиновые подушки; иногда в углу на столе привлечет внимание скудный ужин под теплой шапкой пара, – как это все раздражало Эцуко! Ее воображение рисовало совсем иные картинки благополучия, которые заслоняли от нее окружающую бедность.

Дорога уводила в темноту. Трещали цикады. Вечерняя заря, последний раз отразившись в лужах, угасла. Влажный смутный ветерок нырнул в рисовое поле, колосившееся по обе стороны дороги. Рисовые колосья, согбенные и понурые, отдавались порывам ветра.

Эцуко, преодолев большой крюк, типичный для деревенской местности, наконец-то вышла на тропинку, которая блуждала вдоль небольшой речки. Это были окрестности деревни Майдэн. Между речкой и тропинкой тянулись бамбуковые заросли. От этих мест вплоть до Нагаоки располагались плантации съедобного тропического бамбука – этим и славилась провинция. Тропинка сквозь бамбуковые заросли вела к деревянному мосту через речку. Эцуко перешла через мост, миновала дом бывшего землевладельца, прошла между кленами и фруктовыми деревьями, поднялась по неровным каменным ступенькам, окруженным изгородью из чайных кустов, и, раздвинув двери на веранду, вошла в дом Сугимото, который на первый взгляд казался великолепной загородной дачей, выстроенной рачительным хозяином. О бережливости и смекалке Сугимото говорили такие детали, как отделка дома дешевым грубоватым деревом в неприметных постороннему глазу местах. Из дальних комнат доносился громкий смех детей Асако, жены деверя Эцуко.

«С чего это они так развеселились? Как можно так грубо смеяться?» – вяло подумала Эцуко и положила сумочку с покупками на стол.

\* \* \*

Якити Сугимото приобрел землю в собственность, около десяти акров, в 1934 году, за пять лет до ухода в отставку из судовой компании «Кансай». Он был сыном фермера-арендатора, который вел хозяйство в окрестностях Токио; учился и одновременно зарабатывал себе на жизнь. Окончив университет, он был принят на работу в судовую компанию «Кансай» и приписан к главному офису в Осаке, в Додзиме. Он женился на девушке из Токио и, хотя на всю жизнь остался в Осаке, трем сыновьям дал образование в токийских университетах. В 1934 году стал генеральным директором, в 1938 году – президентом компании. На следующий год ушел на пенсию.

Однажды супругам Сугимото случилось навестить могилу старинного друга на новом муниципальном кладбище, которое называлось Сад душ – Хаттори. Их очаровала окружающая этот сад холмистая местность. Тогда-то, поинтересовавшись названием, они впервые услышали о деревне Майдэн. Присмотрев недорогой земельный надел на склоне горы с фруктовым садом и прилегающими к нему зарослями бамбука и каштановой рощей, они в 1935 году построили скромную дачу. В том же году Якити нанял садовника для ухода за фруктовыми деревьями.

Но превратить эту дачу в место праздного времяпрепровождения, как того желали сыновья и его жена, им так и не удалось. В конце каждой недели они всей семьей выбирались на автомобиле из Осаки и занимались полевыми работами, якобы наслаждаясь солнцем. Кэнсукэ, старший сын Якити, слабовольный неумеха, изо всех сил противился здоровому увлечению отца. Его прямо-таки воротило от отцовских прихотей, однако он был вынужден, хоть и с великой неохотой, волочиться вслед за братьями на поле и мотыжить землю.

Среди деловых кругов Осаки в то время было немало людей, которые любили покопаться в земле. Врожденная скупость, обернувшаяся для жителей района Киото-Осака некоей жизне-спасительной философией, не позволяла им зариться на знаменитые побережья вблизи горячих источников. Они возводили свои коттеджи в горных захолустьях, где земля и жизнь обходились недорого.

После отставки Якити Сугимото перебрался в Майдэн, где воздвиг себе цитадель на всю оставшуюся жизнь. Название деревни восходит, вероятно, к слову «майда», что означает «рисовое поле». Очевидно, в доисторические времена здесь плескалось море, в результате чего земли стали чрезвычайно плодородными. На десяти акрах этой земли Якити мог выращивать какие угодно овощи и фрукты. Одна семья арендатора и три нанятых помощника помогали обихаживать его земли. Через несколько лет персики Сугимото стали пользоваться на рынке особым спросом.

Военное лихолетье Якити прожил с застывшим на лице выражением тайной враждебности. Это была какая-то странная форма презрения по отношению к недалёковидным горожанам, вынужденным терпеть нормированное распределение продуктов, покупать рис на черном рынке втридорога, в отличие от предусмотрительного Якити, который мог поддержать свое существование, кормясь с собственной земли. Таким образом, все происходящее в его жизни, вплоть до отставки с руководящего поста компании, которая была неизбежна и совершилась против его воли, выглядело как заранее продуманные им шаги; однако он болезненно переживал свое отлучение от дел, которое, как теперь казалось, было спровоцировано его собственной недалёковидностью. Усталость и апатия свалились на него, словно на приговоренного к тюремному заключению. На его лице появилось выражение невозполнимой утраты. Среди бывших сослуживцев, которые не испытывали к нему неприязни и зависти, он позволял себе, как бы в шутку, небрежно высказываться о военщине. Еще больше он стал злословить, когда умерла его жена, заболевшая острой формой пневмонии. Новое лекарство, изобретенное врачами военного госпиталя и присланное другом из военного командования в Осаке, не оказало никакого лечебного эффекта, и даже наоборот: болезнь жены стала обостряться, и вскоре она умерла.

Якити сам возделывал землю, сам косил траву. Крестьянская кровь пробудилась в его жилах, а любовь к земле и садоводству обернулась страстью. Теперь никто за ним не приглядывал – ни жена, ни общество. Он без стеснения сморкался в два пальца. Его старческое тело, облаченное в чопорную жилетку с золотой цепочкой и в помочи, нелепые в его возрасте, вдруг обнаружило крестьянскую осанку, а на холеном лице проступили деревенские черты. Если бы подчиненные увидели его в таком облике, то с удивлением узнали бы, что в этом остром взгляде исподлобья, некогда заставлявшем их трепетать, скрывалась типичная натура стареющего крестьянина.

Одним словом, Якити впервые в жизни почувствовал себя собственником земли. Раньше он просто обладал строительным участком, а теперь, когда строительство было завершено, он перестал смотреть на свое хозяйство как на абстрактную часть собственности, наполнив это слово другим смыслом – «моя земля». В нем ожили инстинкты землевладельца, хотя о собственности он имел весьма общее представление. Кажется, именно земля давала ему надежду впервые почувствовать свою истинную значительность. Теперь стало ясно, что мутный источник его презрения к отцу и проклятий в адрес предков, которые никогда не владели ни одним акром земли, окончательно иссяк. И как типичный нувориш, Якити выстроил на территории храма Бодайдзи, на родине, претенциозную фамильную усыпальницу не столько из почтительности к предкам, сколько из желания отомстить им за их бедность. Он никак не мог представить себе, что первым, кто будет там погребен, станет его сын Рёсукэ. О, если бы он знал заранее о смерти сына, он воздвиг бы эту усыпальницу поблизости, в Хаттори!

Сыновья, наезжавшие в Осаку нечасто, были в полном недоумении от таких перемен, случившихся с отцом. В каждом из его сыновей – старшем Кэнсукэ, среднем Рёсукэ и младшем

Юсукэ – сохранилась какая-то частица его характера, но в большей степени во всех них запечатлелся образ покойной матери, на которую легли все тяготы и заботы по воспитанию детей. Она происходила из среднебуржуазной токийской среды, знала нравы и пороки своего класса, потакала мужу в его стремлении пощеголять в высшем обществе, выдавая себя за делового человека со всеми повадками руководящего работника. Однако до самой смерти она не позволяла ему сморкаться в руку, ковырять в носу на людях, шумно хлебать суп, цокать языком, отхаркиваться и сплевывать мокроту в угли хибати – одним словом, пресекала все дурные привычки, которые великодушно прощаются в обществе только так называемым великим людям.

Преображение Якити в глазах сыновей выглядело крайне нелепо, словно он напяливал на себя старый перелицованный халат. А сам он снова воспрянул духом, как в былые годы на службе в судовой компании «Кансай», но на этот раз, утратив служебную учтивость и мягкость в обращении, приобрел чрезмерное самомнение. Он мог крепко выругаться не хуже крестьянина, когда тот гонится за воришкой, застигнутым на овощном поле.

В просторной гостиной красовался бюст самого Якити. Комната занимала площадь в двадцать татами<sup>2</sup>. На стене висел его портрет кисти одного известного кансайского художника. И написанный маслом портрет, и бюст были не менее напыщенны, чем фотографии целого ряда президентов, помещенные на первых страницах объемного ежегодника, изданного к пятидесятилетию императорских компаний Японии.

Недопустимым в новом облике Якити сыновья находили и его смехотворное самолюбование, которое прямо-таки выпирало из монументальной позы бронзового бюста. С кастовым деревенским высокомерием, процветающим среди местных стариков, он позволял себе грязно ругать военное руководство. В этом злопыхательстве сыновья разглядели лицемерную позу критикана, которой он умело покупал уважение простодушных крестьян, искренне принимавших его слова за проявление истинного патриотизма.

По иронии судьбы именно старший сын, считавший отца невыносимым, раньше других сумел занять теплое местечко под папашиним крылом, где мог вести праздную жизнь откровенного бездельника. Из-за хронической астмы он избежал призыва на военную службу, однако, когда стало ясно, что ему не миновать трудовой повинности, отец, благодаря влиятельным связям, пристроил его в почтовое отделение в Майдэн. Вместе с женой Кэнсукэ переехал в деревню. Естественно, трения между отцом и сыном были неизбежны, но Кэнсукэ с редким цинизмом ловко увертывался от давления отца.

Война разгоралась, всех троих помощников забрали на фронт. Один из них, родом из префектуры Хиросима, вместо себя направил на работу к Якити младшего брата, который едва успел окончить школу.

Паренька звали Сабуро. По желанию матери он принадлежал к дзен-буддистской секте Тэнри. На большие праздники в апреле и октябре Сабуро, облачившись в белую накидку с иероглифами на спине: «Закон природы», покидал поместье, для того чтобы встретиться с матерью. В эти дни вместе с остальными верующими они совершали паломничество в Главный храм.

\* \* \*

Эцуко положила сумочку с покупками на стол, прислушалась к звукам, гулявшим в сумерках комнат, как бы пытаясь предугадать, что происходит в доме. Оттуда доносился неумолчный детский смех. Прислушавшись хорошенько, она поняла, что ребенок не смеется, а плачет.

---

<sup>2</sup> Соломенный мат стандартного размера.

Мерцали сумерки. Вероятно, Асако, занятая приготовлением ужина, оставила его без присмотра. Асако была женой Юсукэ, который пропал где-то в Сибири, в русском плену. Весной 1948 года она перебралась с двумя детьми под крышу свекра. Это было ровно за год до того, как Якити пригласил к себе овдовевшую Эцуко.

У нее была своя отдельная комната размером в шесть татами. Подойдя к ней, Эцуко удивилась, обнаружив проникающий из-за перегородки свет лампы. Ведь она никогда не забывала выключать свет. Эцуко раздвинула сёдзи<sup>3</sup>.

За столом сидел Якити, углубившись в чтение. Он обернулся в сторону снохи. На его лице, казалось, мелькнул испуг. Краем глаза она заметила под его локтем красный кожаный переплет. Она тотчас узнала в нем собственный дневник.

– Добрый вечер! – оживленным, громким голосом произнесла Эцуко.

– А, с возвращением! Поздновато, – сказал Якити. – Совсем проголодался, пока ожидал тебя. От скуки даже книгу взял почитать. – Незаметно подменив дневник, он протянул книгу. Это был позаимствованный у Кэнсукэ зарубежный роман. – Что-то не по силам мне это чтение, не понимаю ни одного слова.

Якити был одет в поношенные спортивные штаны, в которых он работал на поле, и в военную рубашку. Поверх нее красовался старый жилет от костюма. Внешний вид Якити, чья показная скромность доходила до юродства, не менялся в течение многих лет. Если бы Эцуко знала, как он выглядел в годы войны, то заметила бы разительные перемены в его облике. Тело высохло, взгляд притупился, а плотно сжатые надменные губы обмякли. Когда он разговаривал, в уголках его рта, как у загнанной лошади, сбивалась белая пена.

– Фрукты так и не купила. Повсюду искала, нигде нет.

– Да-а, вот незадача!

Эцуко присела на татами, руки засунула за пояс. От ходьбы за поясом полыхало жаром, как в парнике. Она чувствовала, как струйки пота стекают по груди. Бывало, такой густой холодной испариной она покрывалась во сне ночью. Тогда воздух в комнате пропитывался запахом ее остывающего тела.

Всем своим существом она ощущала дискомфорт, будто была перетянута и связана веревками. Сидя на коленях, она вдруг завалилась на бок. Увидь ее в такой позе кто-нибудь из посторонних, о ней сложилось бы превратное мнение. Сколько раз Якити сам попадался на эту удочку, принимая ее выходки за кокетство! На самом деле все это происходило бессознательно: ведь она валилась с ног от усталости в буквальном смысле. Якити понимал это и никогда не упрекал ее.

Развалившись на полу, она снимала таби<sup>4</sup>. На белых носках засохли пятна грязи. Подошва тоже была черной, как тушь. Якити, желая завязать разговор, сказал:

– Какие грязные, а?

– Да, дорога выдалась уж больно скверной.

– Дождь прошел будь здоров! В Осаке, наверное, тоже хлестало?

– Да, я как раз стояла за покупками в Ханкю.

Эцуко вновь окунулась в воспоминания. Она все еще слышала оглушающий шум дождя, плотная дождевая завеса ниспадала с небес, укрывая весь мир.

Она переодевалась молча, не обращая внимания на Якити. Из-за слабого напряжения в сети лампочка горела очень тускло. Между Якити и Эцуко повисло молчание, и только шелк поскрипывал, словно какое-то ночное насекомое, когда она разматывала пояс на кимоно.

Якити не выносил продолжительного молчания. Он чувствовал в нем немой упрек. Сказав, что пойдет ужинать, он направился через коридор в свою комнату.

---

<sup>3</sup> Раздвижные перегородки в японском доме.

<sup>4</sup> Носки с плотной подошвой.

Эцуко, завязывая на ходу повседневный пояс из Нагоя, подошла к столу. Одной рукой она закрепляла за спиной пояс, а другой лениво перелистывала страницы дневника. На ее губах появилась едва заметная ухмылка.

«Отец не знает, что это фальшивый дневник. Никто не знает, что это фальшивый дневник. Разве кто-нибудь может представить, как искусно обманывают люди собственное сердце?»

Эцуко открыла дневник на вчерашней странице и склонила голову над темными испи-санными листами.

*Сентябрь, 21. Среда.*

*День закончился, ничего не произошло. Последние деньки лета. Дышать стало легче. Голосами насекомых свиристит весь двор. Утром отправилась за мисо на распределительный пункт в деревню. Один тамошний ребенок подхватил воспаление легких. На его долю едва хватило пенициллина. Говорят, что помогло. Вроде бы чужие заботы, а на душе полегчало.*

*Чтобы жить в деревне, нужно иметь простое сердце. Худо ли, бедно, но на людях я тоже бываю простой. Кое-чему научилась. Я не скучаю. Перестала тосковать. О скуке теперь не вспоминаю. В последние дни мне тоже стало понятно то безмятежное настроение, какое испытывают крестьяне по завершении тяжелой страды. Я окутана щедрой отцовской любовью. Такое ощущение, будто я вернулась в прошлое, когда мне было лет пятнадцать или шестнадцать.*

*В этом мире, чтобы жить, вполне достаточно иметь простое сердце, безыскусную душу. А сверх того, кажется, ничего не нужно. Я так думаю. В этом мире нужны такие люди, которые умеют что-нибудь делать или хотя бы немного двигаться. В болоте городской жизни запросто можно погибнуть от торгашества и хитрости. Таково человеческое сердце. На моих руках выросли мозоли. Отец нахваливает меня. И вправду, руки стали походить на руки. Я научилась сдерживать гнев, не впадаю в уныние. Эти ужасные воспоминания, воспоминания о смерти моего мужа, больше не изводят меня. Нынешней осенью солнечный свет умиротворяет меня, как никогда, сердце переполнено такой терпимостью, что хочется благодарить каждого встречного.*

*Все время думаю о С. Она оказалась в такой же ситуации, как и я. Она также потеряла мужа. Я нашла в ней сердечного друга. Когда я думаю о ее несчастье, то утихает и моя собственная боль. Она вдова и поистине красивой, чистой, простой души человек. Конечно, она когда-нибудь выйдет замуж еще раз. Недавно я так хотела поговорить с ней не спеша, но ни в Токио, ни здесь не представилось случая встретиться. Если бы кто-нибудь передал письмо от нее, но...*

«Инициалы, конечно, подлинные, но поскольку выданы за женское имя, то вряд ли догадаться, кому они принадлежат. Имя С. довольно-таки часто мелькает в записях, однако беспокоиться не о чем. Доказательств-то нет никаких! К тому же для меня этот дневник всего лишь фальшивка. Ведь ни один человек не может быть искренним...»

Эцуко попыталась осмыслить свои истинные намерения, когда начинала вести дневник, но все слова казались ей неискренними. Мысленно она начала исправлять свои записи.

«Если я перепишу дневник, то навряд ли он станет правдивей».

Придя к такому умозаключению, она принялась переписывать дневник.

*Сентябрь, 21. Среда.*

*Закончился еще один мучительный день. Остается только удивляться: как мне удалось его пережить? Утром ходила в деревню за мисо на распределительный пункт. Один тамошний ребенок подхватил воспаление легких. На его долю едва хватило пенициллина. Говорят, что*

помогло. Ах, какое несчастье! Умер ребенок 2-жи Оками. Вот чем обернулось ее злословие за моей спиной. И все-таки утешила как могла. Жалкое, правда, утешение!

Чтобы жить в деревне, нужно иметь простое сердце. Все иначе в семействе Сугимото – хвастливые, слабовольные, продажные людишки. Из-за них жизнь в деревне превратилась в сплошное мучение. Я люблю простодушных людей. Мне кажется, что в мире нет ничего красивее, чем простота души и простота тела. Однако, когда я оказываюсь на краю бездны, которая отделяет меня от других, я бываю в таком отчаянии, что не знаю, как быть. Ведь как ни старайся, одна сторона медной монеты не обернется другой. Может быть, надо сделать отверстие в монете? Но не равносильно ли это самоубийству?

Я часто подходила к этой грани и была готова отказаться от своей жизни. Мой друг покинет меня. Он убежит куда угодно, хоть на край света. Я же останусь одна, погруженная в повседневную скуку.

А мозоли на моих пальцах слишком несущественны, чтобы думать о них.

Эцуко интуитивно старалась не задумываться глубоко о серьезных вещах. Тот, кто ходит босиком, в конце концов может пораниться. Чтобы выбраться куда-нибудь, необходимо прежде подобрать подходящую обувь. Вот так же хорошо бы иметь на всякий случай жизни рецепт, приготовленный по заказу! Эцуко бездумно перелистывала страницы, разговаривая сама с собой.

«И все-таки я счастлива. Да, я счастлива. Никто не может отрицать это. Во-первых, у них нет доказательств».

Она листала испещренные полутемные страницы дальше. Показались белые листы дневника. Она листала и листала. Вскоре дневник счастья целого года закончился...

\* \* \*

Что касается трапезы, то в доме Сугимото водился странный обычай. Вся большая семья Сугимото делилась на четыре маленькие семьи: на втором этаже жили Кэнсукэ с женой, Асако и дети ютились на первом этаже, Якити и Эцуко занимали комнаты там же, только в противоположной части дома; в комнатах для прислуги отдельно жили Сабуро и Миё. В обязанности Миё входило приготовление риса отдельно для каждой семьи. Ели все по своим углам. Причина такого странного обычая коренилась в эгоизме Якити, который ежемесячно выделял двум семьям сыновей небольшую сумму на повседневные расходы. Он полагал, что на эту сумму можно ухитриться прожить целый месяц, однако сам он не находил оснований придерживаться режима экономии. Он принял под свой кров Эцуко (после смерти мужа она не знала, на кого опереться) только из-за того, что она умела хорошо готовить.

Якити отбирал для себя самое лучшее из урожая овощей и фруктов, а остальное распределял между семьями. Даже каштаны из рощи имел право собирать только он, Якити; при этом выбирал самые вкусные. Другим это не позволялось, исключение было сделано только для Эцуко.

Кто знает, может быть, кое-какие тайные мысли руководили Якити уже в то время, когда он решил облагодетельствовать ее неслыханными привилегиями? Обычно домочадцы одаривались лучшей долей каштанов, лучшим виноградом, лучшим урожаем хурмы и клубники, лучшими персиками только за какие-либо особые заслуги.

Вскоре после того, как в доме Якити Сугимото поселилась Эцуко, ее особое положение превратилось в предмет зависти и ревности, а они, в свою очередь, повлекли за собой досужие предположения о том, что это неспроста. Злоязычные разговоры, которые слишком походили на правду, обиняком достигли ушей Якити и определенным образом повлияли на его пове-

дение. Однако, когда эти подозрения стали подтверждаться, самим сплетникам стало трудно поверить в очевидное.

Что влекло молодую женщину, которая потеряла мужа почти год назад, к его отцу? Что принуждало вступать в физическую близость с ним? Ведь она еще очень молода, могла бы подумать о новом замужестве, вместо того чтобы хоронить вторую половину жизни. Ради чего она отдавала свое молодое тело старику, которому уже за шестьдесят? Конечно, она ему не кровная родственница. Если она делает это с ним из-за плоски риса, тогда понятно, нынче такое в моде.

Эцуко была окружена всевозможными домыслами, словно изгородью, за которую было бы так любопытно заглянуть! А она, игнорируя любопытство посторонних, слонялась за этой изгородью, словно курица, потерявшая прошлогоднее зерно. Или умирала от скуки одиночества.

Кэнсукэ и его жена Тиэко ужинали в своей комнате на втором этаже довольно поздно. Тиэко вышла замуж за Кэнсукэ из интереса к его увлечению философией киников, которая предоставляла ей в разных жизненных ситуациях свободный выход, лазейку для бегства и укрытие от неурядиц. Она прекрасно видела, что Кэнсукэ крайне беспомощен и ленив, но никогда не испытывала разочарования в своем замужестве. Будучи разносторонне начитанной, она вышла замуж, когда молодые годы уже остались позади, с убеждением, что супружество есть одна из величайших глупостей этого мира. У них до сих пор сохранилась привычка на подоконнике под фонарем декламировать стихотворения в прозе Бодлера.

– Бедный наш старичок! В его годы страдания растут, как трава, – сказал Кэнсукэ. – Недавно проходил мимо комнаты Эцуко. Там горел свет, хотя она, кажется, еще не вернулась из города. Я на цыпочках прокрался в комнату, гляжу – а там наш папаша украдкой читает дневник Э-тян, с головой ушел в чтение. Читал с таким увлечением, что не замечал меня за спиной! Я позвал его. Так он чуть не подпрыгнул от испуга. Потом, едва придя в себя от позора, посмотрел на меня с такой злобой! Я с детских лет не помню такого свирепого взгляда. Всегда страшно было глядеть на него, когда он сердится. Потом он сказал: «Если ты проболтаешься Эцуко, что я читал ее дневник, я выброшу тебя и твою жену из этого дома, ясно?» Вот так.

– Интересно, чем его обеспокоила Эцуко, если он решил читать ее дневник? – спросила Тиэко.

– Может быть, он заметил, что в последнее время Эцуко чем-то взволнована без всяких причин? Хотя навряд ли он догадывается, что она влюблена в Сабуро. Я так предполагаю. Все-таки она осторожная женщина, не станет записывать в дневник что ни попадя.

– Нет, что касается Сабуро, то я с трудом во все это верю, однако твоя наблюдательность всегда восхищала меня. Видимо, так оно и есть, как ты говоришь. Ведь Э-тян – девушка себе на уме! Если хочешь что-нибудь сказать, то скажи, не скрывай; если хочешь что-нибудь сделать, то делай! Мы всегда поможем, разве не так?

– Бывает забавно, когда задумаешь одно, а выходит другое. Вот и наш старик потерял всякую гордость с тех пор, как в его доме поселилась Эцуко, – сказал Кэнсукэ.

– Да нет! Свое достоинство он растерял во времена земельной реформы, именно тогда он и пал духом.

– Верно. Я полагаю, ты права. Следует понимать, что наш отец был сыном крестьянина-арендатора и гордится тем, что владеет землей. Он говорил: «У меня есть земля!» Вот отчего он бывал заносчивым, словно выбившийся в унтер-офицеры солдат. Прежде чем стать полноправным землевладельцем, человеку, который никогда не имел собственной земли, приходится усвоить нелегкие уроки жизни: сначала он должен тридцать лет отдать службе в судовой компании, дослужиться до самых верхов, стать президентом. Отец находил какое-то удовольствие в том, чтобы этот процесс восхождения был украшен трудностями и их преодолением. В годы войны отец имел огромное влияние. Он поговаривал о некоем Тодзэ, ста-

ром хитроумном друге, который разбогател на акциях. Я почтительно выслушивал эти разговоры, когда еще был почтовым служащим. Те поместья, на которых землевладельцы проживали постоянно, как наш отец, послевоенная земельная реформа затронула меньше всего, не нанесла большого ущерба. Однако когда реформа позволила таким мелким арендаторам, как Окура, приобрести земли по бросовым ценам и стать землевладельцами, – вот тогда-то он испытал сильнейшее потрясение. Он приговаривал частенько: «Если бы я знал заранее, что все будет складываться таким образом, то я бы не надрывался изо всех сил на протяжении тридцати лет!» Вот почему, глядя на людей, которые стали землевладельцами, не ударив палец о палец, отец решил, что разрушен смысл его существования. Эти мысли превратили его в немощного старика. Кажется, ему стала нравиться сама идея быть жертвой эпохи. А как он ожил, словно вернул себе молодость, когда в разгар депрессии его обвинили в военных преступлениях и сопроводили в Сугамо! Таким я его еще не знал.

– Что бы там ни говорили, – вступила Тиэко, – а Эцуко должна быть счастлива – ведь она не испытала на себе отцовского деспотизма. Сегодня она в настроении, завтра впадает в меланхолию! Сабуро, конечно, отдельная тема. Только одно уму непостижимо: как может женщина вступить в любовные отношения с отцом своего мужа? Во время траура по мужу! Такое в голове не укладывается.

– Бывало, и Рёсукэ высказывался на ее счет: мол, вопреки его ожиданиям, она оказалась какой-то анемичной женщиной. Куда подует ветер, туда и наклонится ива. Так и она – ослепленная верностью, не заметила, что ее возлюбленный муж давно уже изменился, а она все цеплялась за него, будто ее пыльным ветром к нему прилепило.

Кэнсукэ был скептиком, считал, что любая теория познания уязвима, но при этом гордился своей способностью проникать в суть вещей.

\* \* \*

Наступила ночь, все три семьи разбрелись по своим комнатам. Вечера проходили отчужденно. Асако была поглощена заботами о детях. Она укладывала их спать рано, ложилась вместе с ними и засыпала.

Кэнсукэ и его жена со второго этажа не спускались. Из их застекленного окна были хорошо видны вдалеке желтые песчаные россыпи огней поселка. До него простиралось рисовое поле, словно черная морская гладь. Казалось, что далекие огни принадлежат большому городу, расположенному на побережье острова, что там непрерывно и мощно пульсирует жизнь. Будто бы в этом городе происходит религиозное собрание, на котором множество народу переживает религиозный экстаз во время ритуального жертвоприношения, совершаемого хладнокровно, тщательно, мучительно долго, в полном молчании, при свете ламп. Хотя было совершенно очевидно, что тамошняя жизнь еще более уныла и еще более однообразна, чем в деревне. Когда Эцуко смотрела на огни поселка, сощурившись так, что они сливались в одно яркое пятно, то вряд ли ее охватывало чувство превосходства. Ей чудилось, что эти несметные огоньки излучает стая листоедов, облепивших ночью гниющее дерево.

Время от времени над ночными полями и садами эхом разносились свистки проходящего из Ханкю поезда. В такие мгновения казалось, что среди ночи разом выпустили на волю десятки исхудалых птиц, которые с голодным криком возвращаются в свои гнезда. Сигнальные свистки сотрясали ночной воздух, напоминая хлопки крыльев. В это время года отдаленные раскаты грома и бледно-синие вспышки молний частенько появляются и исчезают на окраине предрассветного неба.

По вечерам, после ужина, в комнату Якити и Эцуко уже никто не входил. Прежде, бывало, заглядывал Кэнсукэ убить часок-другой за разговором. Случалось, что и Асако с детьми наведывалась. Бывали вечера, когда они все вместе весело коротали время. Однако на

лице Якити стала часто появляться едва скрываемая гримаса недовольства, поэтому посещения постепенно прекратились. Якити не терпел, когда ему мешали оставаться наедине с Эцуко.

В такие часы они позволяли себе заниматься всем, чем угодно. Иногда ночь напролет играли в шашки го. Якити давал Эцуко уроки игры. Не умея ничего другого, он шеголял перед молодой дамой своим искусством, когда объяснял ей правила игры. И в этот вечер они разложили перед собой доску с шашками.

Эцуко то и дело ощупывала тонкими пальцами костяшки, вынимала их из шкатулки, поблескивая ногтями; восторгалась их тяжестью, при этом не отрывала глаз от доски, будто одержимая. Внешне она демонстрировала увлеченность игрой, но в действительности была просто очарована самим видом доски, ее правильной геометрией. Созерцая пересечения черных линий, она не могла ни о чем думать. Даже Якити терялся в догадках, отчего она впадает в такое неистовство. У него на глазах, без всякого стеснения Эцуко предавалась бесстыдному веселью, так заливаясь смехом, что обнажались остренькие белые зубки.

Иногда она громко хлопала костяшкой по доске. Так натравливают охотничьего пса или ставят штамп. В такие минуты Якити, исподлобья тайком взглянув на лицо Эцуко, пресекал ее веселье веским замечанием:

– А ты не малой силы! Как у Мусаси Миямото и Кодзиро Сасаки<sup>5</sup> на поединке в Ганрюсима.

Твердая поступь послышалась в коридоре – непохоже было, что это шла женщина. Шаг был и не легким, и не грузным – как у мужчины средних лет. Вслед за шагами в темном коридоре жалобно-жалобно поскрипывали половицы, словно кто-то, притаившись в ночи, непрерывно хныкал. Шаги приближались.

Эцуко, задержав указательный палец на шашке, замерла. Казалось, что эта костяшка была ее единственной надежной опорой. Несмотря на дрожь в руке, она еще крепче прижимала пальцем шашку, делая вид, будто размышляет над следующим ходом. Однако думать там было не о чем, хотя свекор и не сомневался в том, что она неподдельно увлечена игрой.

Двери раздвинулись. Сидя на коленях, через порог поклонился Сабуро.

– Спокойной вам ночи! – сказал он.

– А-а! – ответил Якити, не поднимая головы. Двинул шашку.

Эцуко пристально смотрела на его узловатые, уродливые, старые пальцы. На приветствие Сабуро ничего не ответила. Даже головы не повернула. Сёдзи закрылись. Его шаги удалялись в противоположном от спальни Миё направлении. Там, в западной части дома, находилась комнатка Сабуро размером всего в три татами.

---

<sup>5</sup> Мусаси Миямото и Кодзиро Сасаки – легендарные борцы традиционной японской борьбы сумо.

## Глава вторая

Дикий лай собак по ночам будил деревню. На задворках усадьбы была привязана к амбару Магги – старая сучка-сеттер. Когда свора бродячих псов пробегала через рощу, которая примыкала к фруктовому саду Сугимото, Магги становилась в стойку и, наострив уши, подымала протяжный вой, словно жаловалась на свое одиночество. Бродячие собаки на мгновение замирали и отвечали сочувственным воем, сотрясавшим сухие листья бамбука. Эцуко спала чутко и сразу же просыпалась.

Еще не прошло и часа, как она вернулась в свою постель. Завтра утром она отоспится, – словно это вменялось ей в обязанность. Эцуко придумывала для себя задания, чтобы оправдать завтрашний день. Придумать бы что-нибудь простенькое, привычное! Ведь без этого человек не сможет протянуть даже одного дня. Он идет на маленькие добровольные жертвы: оставляет на донышке бутылки саке, покупает билет в путешествие или откладывает на завтра починку одежды – все это позволяет ему встретить рассвет. А чем жертвовала Эцуко? Ах да! Она собиралась пожертвовать двумя парами носков – парой темно-синих и парой коричневых. Она подарит Сабуро носки. Только этим подношением будет отмечен ее завтрашний день. Желания Эцуко были чисты и просты. Она выбирала их очень тщательно, словно набожная женщина. Держась за две тоненькие ниточки, синенькую и коричневую, она бездумно уносила куда-то на воздушном шаре непостижимого завтра – мрачного и бездонного. Эцуко не была склонна к размышлениям. Именно на этой нерасположенности к размышлениям росло ее счастье, эта почва поддерживала ее жизнь.

Нетерпеливыми, сучковатыми и сухими пальцами Якити ощупал все молодое тело Эцуко. Из ее сна он крал один или два часа. Однажды приняв костлявые старческие ласки, женщине трудно уклониться от них в дальнейшем. Все тело Эцуко с тонкой, прозрачной и влажной кожей, еще более нежной, чем у личинки бабочки, с трудом высвобождающейся из сухой скорлупы, продолжало зудеть от его прикосновений.

Немного привыкнув к темноте, Эцуко оглядела комнату. Якити, как ни странно, не храпел. Его затылок, голый, словно ошипанная курица, был едва виден. Тиканье часов на полке напоминало о времени, а всхлипы сверчка возле постели – об огромном сумрачном мире. Если бы не эти скудные звуки, то могло показаться, что весь мир безвозвратно канул в ночи. Ночь наваливалась на оцепенелую от страха Эцуко, куда-то гнала ее, обреченную на беспомощность, уносила над холодной бездной, словно осеннюю муху.

Кое-как она приподняла голову. Створки шкафа, украшенные перламутром, отливали синевой. Веки слипались, она закрыла глаза. Память вернула ее в прошлое, к событиям полугодичной давности.

Вскоре после приезда в Майдэн она стала частенько прогуливаться в одиночестве. Деревенские остроловые немедленно нарекли ее чудной. Эцуко не обращала внимания на разговоры и продолжала свои одинокие прогулки. Вот тогда-то деревенским соглядатаям бросилась в глаза странная походка – словно у беременной. Они пришли к заключению, что у такой женщины непременно должно быть сомнительное прошлое.

С того края владений Сугимото, где протекала речка, хорошо просматривался кладбищенский Сад душ – Хаттори. Сюда редко навевались посетители, разве что в праздники равноденствия – Хиган. В полдень белокаменные надгробия, возвышающиеся друг над другом просторными террасами, отбрасывали на землю печальные тени. Кладбище, окруженное лесом на волнистых холмах, сияло чистотой дорогих надгробий. Кварцевые вкрапления на гранитных плитах поблескивали в лучах солнца.

Эцуко особенно любила прогуливаться по широким тропинкам между могил, наслаждаясь тишиной кладбища, над которым простиралось огромное безмолвное небо. Это совер-

шенно белое прозрачное безмолвие, пронизанное ароматом трав и молодых листьев, внушало Эцуко чувство глубокого единства со всем миром.

Стояла пора роста трав. Эцуко бродила по берегу реки, собирая в отворот рукава полевые хвощи и звездчатки. В одном месте внешние воды, переполнив пологий берег реки, затопили пойменные травы. Здесь росла таволга. Речка протекала под мостом – конечным пунктом бетонной автотрассы, протянувшейся от Осаки до кладбищенских ворот, перед которыми раскинулась зеленая лужайка. Эцуко всегда обходила ее по кругу, предпочитая прогуливаться привычными тропинками. «Кем ниспослано это отдохновение? – удивлялась она. – Не похоже ли оно на отсрочку смертного приговора?»

Она прошла мимо детей, игравших мячом в вышибалу, и через некоторое время оказалась посреди поляны, отгороженной от реки изгородью. На этом участке кладбищенской земли еще не было могил. Эцуко хотела было присесть, но увидела лежащего на спине паренька, который увлеченно читал поднятую над головой книгу. Это был Сабуро. Тень упала на его лицо. Он настороженно приподнялся.

– А, госпожа Сугимото! – сказал он.

В этот момент из нарукавного кармана Эцуко просыпались на его лицо хвощи и звездчатки. Застигнутый врасплох, Сабуро переменился в лице. Такая быстрая смена выражения развеселила Эцуко, наполнив ее чистой, освежающей радостью, словно она решила незамысловатое уравнение по математике. Сабуро же решил, что Эцуко подшутила над ним специально, засыпав его травой, но, взглянув на Эцуко, он понял, что она обронила травы случайно. Он мгновенно стал серьезным, глаза выражали извинение. Сабуро поднялся. Затем снова опустился на колени, помогая Эцуко собирать звездчатки.

«Я спросила его: „Чем ты занимаешься здесь?“» – вспоминала Эцуко.

– Книгу читаю, – ответил он, показывая томик рассказов о самурайских приключениях. И покраснел.

Его речь звучала как военные команды. Несмотря на свои восемнадцать лет, Сабуро еще не призывался на военную службу. Он вырос в Хиросиме, где говорят на диалекте, и поэтому старался произносить слова подчеркнуто отчетливо, чтобы не привлекать внимания своим выговором.

Без лишних расспросов Сабуро рассказал, что на обратном пути из деревни, куда он ходил на распределительный пункт за пайкой хлеба, решил немного полежать на лужайке, где Эцуко и повстречала его, отлынивающего от своих обязанностей. В его признании было больше заискивания, чем оправдания.

– Ладно, никому не скажу, – обещала Эцуко.

Она вспомнила, что расспрашивала его о разрушениях от ядерной бомбардировки Хиросимы. Он коротко ответил, что его родовое гнездо находится далеко от города, поэтому семья никаких потерь не понесла, но зато дом их родственников был уничтожен полностью. На этом тема разговора была исчерпана, а задавать вопросы Эцуко мальчик стеснялся.

«Когда я впервые увидела Сабуро, мне показалось, что ему, должно быть, лет двадцать, не меньше. Сейчас я не могу вспомнить, на сколько лет он выглядел в тот момент, когда я повстречала его на поляне перед кладбищем. Ситцевая рубашка, распахнутая на груди, несмотря на весеннюю погоду, была вся в заплатках, рукава закатаны по локоть. Возможно, что он скрывал таким образом прорехи на одежде, которые, видимо, смущали его. Зато руки у него были красивые. У городских мальчиков такие руки бывают только к двадцати пяти годам, не раньше. На загорелых, сильных руках густо-густо росли пушистые золотистые волоски. Кажется, он стыдился своей мужественности».

В глазах Эцуко при взгляде на Сабуро невольно мелькнула укоризна. Это немного портило ее, но по-другому она не умела смотреть. Ей было любопытно, догадался ли он, почему

она так посмотрела? Нет, навряд ли. Он осознавал только одно: рядом с ним находится еще одна заботливая женщина, приехавшая в дом его заботливого хозяина.

«А что за голос у него! Гнусавый, глухой, мрачный, подростковый. Неразговорчивый. А если сподобится что-то сказать, то слова произносит так, будто дает клятву, цедя их по одному. Слова простые, тяжелые – как тутовые плоды...»

На следующий день, когда Эцуко встретила Сабуро вновь, она уже смотрела на него без малейшего волнения. И даже без укора в глазах. Просто улыбка. Так что между ними ничего не произошло.

Однажды Якити попросил Эцуко починить брюки и пиджак, в которых он обычно работал на поле. Это было ровно месяц спустя после того, как она приехала. Она засиделась за штопкой допоздна – Якити торопил ее с работой. Он заглянул в комнату Эцуко в час ночи – в это время он обычно уже спал. Якити похвалил ее за усердие, перекинул через руку заштопанные вещи. Потом помолчал немного, раскуривая трубку.

– У нас тебе хорошо спится? – спросил он.

– Да, конечно! Здесь так тихо – не то что в Токио.

– Поди обманываешь меня?

– По правде сказать, в последнее время я сплю не очень хорошо, – простодушно отвечала Эцуко. – Бывает настолько тихо, что порой невыносимо.

– Так дело не пойдет! Было бы лучше, если бы я не приглашал тебя, – грустно произнес Якити с обертонами бывшего директорского сарказма.

Когда Эцуко принимала приглашение Якити приехать в Майдэн, она предвидела, что ее будут ожидать беспокойные ночи. Вернее, она даже желала их. После скоропостижной смерти мужа она тоже стала грезить о собственной смерти – в точности как индийская вдова. Ее стремлением к смерти руководили довольно странные мотивы: она хотела пожертвовать своей жизнью не из-за смерти мужа, а из ревности к нему. При этом желаемая смерть должна была быть из ряда вон выходящей – растянутой во времени, медленной. Кто знает, может быть, в глубине ее чувства скрывалось стремление обрести нечто такое, что оградило бы ее от страха ревности? Похоже, это недостойное желание – такое же отвратительное, как желание отведать мертвечины, – отдавало гнилым душком. Не копошились ли внутри ее желания жиреющие личинки алчности – бессмысленной алчности?

Смерть мужа... Перед ее глазами возникает отчетливая и подробная картина последних дней осени: к задним воротам инфекционного госпиталя подъезжает катафалк, чернорабочие поднимают на плечи гроб; выходят из мертвецкой наружу, увлекая за собой сумрачный воздух, настоящий на трупном запахе, смешанном с плесенью и благовониями; по пути они задевают белые лепестки искусственного лотоса, который бесчувственно осыпает толстый слой пыли на влажные от еженощного окропления татами; протискиваются между обшарпанными лежаками для трупов; минуют алтарь, перед которым выстроены в ряд деревянные таблички с именами усопших, словно в комнате ожидания, – вот из этой самой мертвецкой, водрузив на плечи гроб с телом ее мужа, поднимаются по бетонному пандусу чернорабочие. На подошвах армейских ботинок скрипят гвозди, напоминая зубовой скрежет. Вот отворяются двери мертвецкой во внутренний дворик госпиталя...

Эцуко и вообразить не могла, что хлынувший ослепительной снежной лавиной солнечный поток бывает таким сильным и волнующим. Солнечный свет, словно извергающийся горячий источник, стремительно затоплял окружающую местность, выплескиваясь из берегов ранних ноябрьских дней. Инфекционный госпиталь задворками был обращен к сожженному во время бомбардировок городу, расположенному в низине. Часть города была уже застроена новыми домами и покрыта деревянными каркасами строящихся домов, а другая часть сохраняла следы пожарищ, где в груде кирпича и мусора вольготно росла полынь. Ноябрьский солнечный свет безраздельно владел всем городом. По расчищенным между развалин дорогам

сновали велосипедисты, поблескивая на солнце спицами. В этой перестрелке солнечных лучей, ослепляющих глаза, участвовало битое стекло пивных бутылок, в изобилии валявшееся в грудах мусора. И гроб, и следовавшая за ним Эцуко были повержены каскадом солнечного света.

Заработал двигатель катафалка. Эцуко поднялась в машину вслед за гробом. Занавески на окнах были опущены. До самого крематория она уже не думала ни о смерти, ни о ревности. Ее мысли целиком захватил нестерпимо яркий солнечный свет. Она перебирала осенние цветы, вздрагивавшие на ее коленях. Там была одна хризантема, одна веточка колокольчика; была леспедца и поникшая от всеобщего бдения космея. Колени и подол траурного платья были присыпаны желтой пылью.

Что чувствовала она, когда солнечные лучи потоком хлынули на нее?

Избавление?

От чего?

От ревности?

От долгих бессонных ночей?

От приступов лихорадки мужа?

От госпиталя?

От ночного бреда?

От зловония?

От смерти?

Была ли ревность Эцуко к изобилию солнечного света, торжествующему на этой земле? Или ревность – единственное чувство, которое она могла испытывать на протяжении многих лет жизни, – возникала рефлекторно, по привычке? Чувство освобождения должно сопровождаться освежающим ощущением отстранения от всего-всего – кроме самой себя. Когда пленный лев выходит из клетки на волю, он, в отличие от львов, живущих на свободе, стремится в первое время захватить как можно большую территорию для охоты. Пока лев живет в клетке, он знает только два мира – мир клетки и мир вне клетки. И вот он на воле. Он ревет. Он мстит людям, готов растерзать их всех. Он недоволен тем, что не может приспособиться к миру, который перестал разделяться на два. Он не может понять, что живет в новой реальности... К этому миру у Эцуко не было ни малейшего интереса. Ее душа его игнорировала.

Эцуко почувствовала, что света для нее стало слишком много. Теперь полумрак катафалка казался ей намного приятней. В такт движению автомобиля в гробу двигалось мертвое тело мужа, издавая глухой звук. Вероятно, это ударялась о стенки гроба его любимая трубка, положенная вместе с ним. Ее следовало бы завернуть во что-нибудь. Эцуко приложила ладонь к покрывавшей гроб белой ткани – как раз к тому месту, откуда раздавался таинственный звук. И сразу все прекратилось, словно это нечто затаило дыхание.

Эцуко отодвинула край занавески. Вскоре она увидела, как стоящий впереди катафалк, сбросив на полпути скорость, въезжает на унылую бетонную площадь, по краям которой стояли скамейки для отдыха. Она увидела здание, очертаниями напоминающее огромную печь. Это был крематорий.

Вспоминая тот день, Эцуко решила: «Не мужа я приезжала кремировать, я сжигала там свою ревность».

Однако разве ревность может погаснуть, если даже останки покойного превратились в пепел? В некотором смысле ее ревность была подобна инфекции, передавшейся ей от мужа. Этот вирус поражает плоть, нервы, кости. Если бы она хотела, чтобы ее ревность сгорела дотла, то ей следовало бы войти в печь вместе с гробом. Другого выхода у нее не было.

Три дня Рёсукэ не появлялся дома, а потом у него вспыхнула лихорадка. И все же он пошел на работу. Рёсукэ не принадлежал к тем ловеласам, кто ради любовных интрижек берет свободный день. Он был просто не в силах возвращаться домой, где его ожидала Эцуко. Раз пять на дню она прибегала к ближайшему общественному телефону-автомату, но так и не

решалась позвонить на фирму. Он обязательно поднял бы трубку, если бы она позвонила. Он никогда не грубил. А когда извинялся, был ласков и нежен, как котенок. Оправдываясь, он намеренно вставлял осакские словечки, нашептывал их. Но эта манера извиняться еще больше ранила Эцуко. Вместо извинений она была бы рада услышать от Рёсукэ какое-нибудь крепкое ругательство. Хотя на первый взгляд казалось, что с его губ вот-вот должно сорваться бранное слово, приличествующее настоящему мужчине, в конце концов Рёсукэ умиротворенно и ласково вновь повторял старые обещания, которым невозможно было верить, но и сопротивляться Эцуко уже не могла. Конечно, было бы лучше, если бы в самый первый раз, когда стали доходить слухи, она воздержалась бы от телефонного звонка.

«Здесь неловко разговаривать... Вчера вечером, на Гиндзе, я встретил старого приятеля. Он уговорил меня сыграть с ним партию в мадзян<sup>6</sup>. Он занимает пост в министерстве торговли и промышленности. Мне неудобно было отказать. Что? Да, вернусь сегодня вечером. Я вернусь сразу после работы... Правда, на меня навалилась гора бумаг... Готовить ужин? На твое усмотрение – можешь готовить, а можешь не готовить. Все равно поужинаю еще раз, даже если не буду голоден. Ну ладно, мне пора. Тут господин Кавадзи изнывает от нетерпения. Да, я понял. Понятно, понятно! Ну все, пока!»

Среди сослуживцев Рёсукэ слыл франтом, хотя пытался казаться простым парнем. А Эцуко ждала. Она продолжала ждать. Рёсукэ не возвращался. Когда он вернулся, они провели, вопреки обыкновению, странную ночь: Эцуко не упрекала его, не требовала объяснений. Она просто смотрела на мужа с тоской в глазах. Вот эта бессловесная грусть, которая сквозит во взгляде дворовой сучки, смотрящей на хозяина, вывела из себя Рёсукэ. То, ради чего томилась в ожидании его жена, выражали протянутые к нему руки – словно за милостыней, и молящий взгляд, в котором Рёсукэ уловил запах страха отверженной женщины; он инстинктивно понял, что их супружеские отношения превратились в почти голые уродливые кости, на которых мертвые куски плоти еще свидетельствовали о жизни былых чувств... Он флегматично повернулся к ней массивной спиной, притворился спящим. Однажды летней ночью Рёсукэ почувствовал сквозь сон, как жена прикоснулась губами к его телу. Он шлепнул ее по щеке. «Ах, бесстыдница!» – буркнул он сонным голосом, причмокивая языком. Ни один его мускул не дрогнул. Так отмахиваются от мошкары.

Все началось с того лета. Он получал удовольствие, когда Эцуко вспыхивала от ревности.

Эцуко стала находить в гардеробе мужа новые галстуки. Как-то утром Рёсукэ подозревал жену к трюмо и попросил повязать ему галстук. Эцуко охватили радость и волнение, она неумело возилась с узлом, из-за дрожи в пальцах долго не могла завязать его. Наконец она справилась. Рёсукэ недовольно отошел в сторону, спросил:

– Ну что? Красивый рисунок?

– А? Ах, какая я стала невнимательная! Это новый, да? Вы его сами купили?

– Ну как я выгляжу? Да ладно тебе, ты заметила. Я знаю.

– Он идет вам.

– Он идет мне, еще бы!

Из выдвижного ящика Рёсукэ выглядывал как бы нарочно краешек носового платка, принадлежащего другой женщине. От него исходил сильный аромат духов. Они были отвратительны. Зловещий запах тубероз наполнял дом.

Фотографии незнакомой женщины, выставленные на столе Рёсукэ, она сожгла собственноручно – одну за другой, спичками. Рёсукэ продолжал ее провоцировать.

– Где мои фотографии? – спросил он, вернувшись домой.

Эцуко стояла перед ним – в одной руке мышьяк, а в другой стакан с водой. Со всего маху он выбил из ее рук и то и другое. От удара Эцуко повалилась на зеркало и сильно ушиблась.

<sup>6</sup> *Мадзян* – китайская игра в кости.

О, какими страстными поцелуями и ласками разразился он в ту ночь! Их сокрушала любовь, словно неукротимый ветер в горах, – всю ночь. Вот такая ирония любви.

Эцуко пыталась отравиться в тот вечер второй раз – но Рёсукэ вернулся вовремя. Через два дня его скрутила болезнь. Через две недели он умер.

– Голова! Голова! Болит! – повторял Рёсукэ в прихожей, не в силах войти в дом.

Эцуко стала мнительной. Когда он вышиб у нее из рук мышьяк, она подумала, что он приходит домой, чтобы изводить ее. В тот вечер она не обрадовалась его возвращению. Ей не хотелось радоваться – эта радость унижала ее. Эцуко, опираясь руками о сёдзи, неприступно и холодно окинула высокомерным взглядом мужа, сидящего на полу в темной прихожей. Она чувствовала, как гордость вырастала в ней. Едва ли она могла откупиться от смерти этой гордостью, словно подачкой, но как-то незаметно мысль о смерти исчезла.

– Что, засиделись за чашечкой саке? – спросила Эцуко.

Рёсукэ поднял голову, мельком взглянул на жену. Это был взгляд, каким обычно смотрела на него жена; взгляд, который вызывал в нем отвращение, – он словно бы заразился этим преданным собачьим взглядом, тупым и воспаленным страстной надеждой, – так смотрят на хозяина домашние животные, измученные болезнью, не понимая, почему это происходит именно с ними. В глазах Рёсукэ было то же непонимание. Возможно, именно сейчас он впервые почувствовал в себе это нарастание беспокойства. То была болезнь. Но не только она была тому причиной.

С этих пор у Эцуко начались счастливые дни – всего шестнадцать коротких дней, зато все счастливые. О, как они были похожи, эти счастливые дни, на их свадебное путешествие! Только теперь Эцуко отправлялась вместе с мужем в страну под названием Смерть. Это путешествие изматывало душу и тело – как и свадебное. Оно сопровождалось страданием и страстью – не было ни пресыщения, ни усталости. Рёсукэ, словно молодая невеста, распластан на постели; его грудь обнажена; тело умело подыгрывает Смерти, в лихорадке отдаваясь кошмарным видениям. В последние дни, когда болезнь атаковала его мозг, он неожиданно подскочил на кровати, словно занимаясь гимнастикой. Из его рта вывалился пересохший язык, обнажились зубы, вымазанные, словно глиной, сочащейся из десен кровью. Он дико рассмеялся.

Точно так же он заливался смехом после их первой ночи, на рассвете, в гостинице Атами<sup>7</sup>. Их комната была на втором этаже. Он отворил окно, взглядом окинул холмистую лужайку – там одна немецкая семья выгуливала огромную борзую. Держал собаку мальчик лет пяти или шести, и в этот момент мимо кустарников пробежала кошка. Собака рванулась за ней. Мальчик, забыв отпустить поводок, шлепнулся на газон. Рёсукэ от души рассмеялся. Собака волочила ребенка по земле. Рёсукэ хохотал без всякого стеснения. Эцуко никогда не видела, чтобы он так громко смеялся.

Эцуко тоже подбежала к окну. Ах, какое утро сияло над лугом! Живописная местность холмилась до самого побережья. Казалось, море плескалось на краю сада. Затем они спустились в вестибюль. Там на стенде стояли красочные путеводители. Над ними висело объявление: «Бесплатно». Проходя мимо, Рёсукэ выдернул один проспект. Пока они ожидали завтрак, он ловко сложил из него журавлика. Их обеденный стол находился у окна.

– Смотри! – произнес Рёсукэ и выпустил через окно в сторону моря бумажную игрушку. Какая глупость!

Рёсукэ знал, как развеселить любую избалованную женщину. Это был один из сорока восьми приемов, которыми он владел. Следует заметить, что только тогда он, неистощимый на выдумки, по-настоящему забавлял Эцуко; только тогда он с удовольствием развлекал молодую жену. Это было так искренне, от души!

---

<sup>7</sup> Атами – курорт на берегу Тихого океана.

В то время у Эцуко еще водились деньги – она была единственной наследницей отца. В придачу ей досталась еще одна семейная реликвия – их родословная, которая восходила к старинному роду известного военачальника эпохи феодальных войн. Эта реликвия добавляла ей необычности. Война закончилась, имущество обложили налогом. После смерти отца выяснилось, что Эцуко унаследовала лишь обесцененные акции...

Однако что бы там ни было, а в то утро им ничто не мешало наслаждаться друг другом в гостинице Атами. Когда Рёсукэ заболел лихорадкой, они вновь стали одним целым. Сколько алчности и низости было в ее стремлении выжать до последней капли наслаждение из их трагического счастья! Это счастье выпало на долю Эцуко неожиданно. Она с таким надрывом ухаживала за больным мужем, что посторонним было неловко смотреть на это.

Требуется немало времени, чтобы выявить тиф. Вначале врачи думали, что это какое-то инфекционное заболевание слизистой. Головные боли не проходили, появилась бессонница, аппетита не было вовсе. Однако еще отсутствовали два характерных симптома ранней стадии тифа – резкие скачки температуры и аритмия. В первые два дня у него болела голова, во всем теле была слабость – однако жара еще не было. На следующий день после возвращения домой Рёсукэ не вышел на службу.

Он целый день провел дома, тихо перебирая свои вещи, – словно ребенок, который пришел поиграть в чужой дом. Смутное беспокойство у Эцуко вызвало его полное бессилие, а также вспышка жара. Когда она вошла в его кабинет, Рёсукэ спал на татами, руки были раскинуты в разные стороны. На нем был домашний халат из темно-синей ткани в белый горошек. Он причмокивал губами, словно пробовал их на вкус. Ей показалось, что губы его распухли. Увидев Эцуко, он пробормотал: «Кофе не нужно». Она нерешительно остановилась.

– Поверни-ка вперед узел на поясе, а то давит сильно. Я не могу, – сказал он.

Долгое время Рёсукэ раздражался, когда руки Эцуко прикасались к нему. Он даже не позволял ей помогать одеваться. Что произошло с ним сегодня? Она поставила на столик чашку с кофе, опустила на колени рядом с ним.

– Что ты задумала? Ты прямо-таки как массажистка, – сказал он.

Эцуко дотронулась до него, потянула за расхлябанный узел узорного пояса. Рёсукэ сделал попытку приподняться. Его грузное тело тяжело повалилось на хрупкие руки Эцуко, и ее запястья заломило от боли. И все-таки она жалела, что это продолжалось всего несколько секунд.

– Вы бы лучше легли в постель, а не лежали на полу. Давайте я постелю?

– Да ладно, не беспокойся. Мне удобно.

– А как температура? Кажется, поднялась.

– В норме по-прежнему.

Вдруг Эцуко совершила то, чему сама поразилась: она прикоснулась ко лбу мужа губами. Рёсукэ молчал. Его глаза тяжело двигались под сомкнутыми веками. Пористая кожа на лбу лоснилась от жира... Да, так. Вскоре появились характерные признаки тифа. Лоб охватил сухой жар, выступившие капельки пота высохли, он начал бредить. Его лицо почернело, стало землистым, как у покойника.

На следующий день, вечером, температура резко подскочила до 39,8. Он жаловался сначала на боли в пояснице, потом – на головные. В поисках прохладного места на подушке он не знал, куда положить голову, и метался по всей постели. Наволочка была измазана сальными волосами и перхотью. С этой ночи Эцуко стала прикладывать к его голове грелку с холодной водой. Есть он мог только жидкую пищу, да и то с трудом. Эцуко выжимала яблочный сок и через рожок поила мужа. Врач, вызванный на следующее утро, сказал, что у него обыкновенная простуда.

«Итак, он наконец-то вернулся ко мне, вот он – передо мной! Я смотрела на него, словно на обломки, выброшенные морем к моим ногам. Я наклонилась. Внимательно, подробно

осмотрела измученное тело, которое колыхалось на поверхности воды. Словно жена рыбака, я ежедневно выходила на берег моря – я жила одна и ждала. И вот однажды я обнаружила в заливе, среди скал, утопленника. Тело плавало на мелководье. Оно еще подавало признаки жизни. Не помню, сразу ли я вытащила его? Нет, не вытаскивала. У меня хватило духу только наклониться над телом. Я смотрела на него – страстно, без усталости, пристально, бессонно, напрягая все силы. Набежала волна и накрыла полуживое тело. Послышался стон, потом еще раз. Из гортани вырвался хрип – не отрывая глаз, я продолжала следить до последнего горячего вдоха.

Я знала: если бы он выжил, то все равно покинул бы меня – уплыл бы, словно обломок, уносимый отливом в безбрежное море.

Всю страсть я вкладывала в заботу о нем. Это не имело никакой цели! Кто-нибудь знает об этом? Разве кто-нибудь знает, что мои слезы, пролитые в последние часы жизни мужа, были слезами расставания, слезами страсти, которая испепеляла меня день за днем?..»

Эцуко вспомнила день, когда увозили мужа: на носилках занесли в машину, заказанную по телефону, и отвезли в амбулаторию доктора внутренних болезней Коисигавы – Рёсукэ был с ним в приятельских отношениях; вспомнила, как сильно разругалась с девушкой (она видела ее на фотографиях Рёсукэ), которая через три дня после его госпитализации имела наглость заявиться в палату. Как она разнюхала? Услышала от кого-нибудь из сослуживцев? Да ведь никому же не сообщали. Или эти девки чувствуют болезнь по запаху, как сучки? Еще одна заявилась. Потом другая женщина приходила три дня подряд. И еще одна. Иногда они сталкивались друг с другом, бросали презрительные взгляды и расходились. Эцуко не хотела, чтобы кто-то посягал на их Остров двух одиночеств. Первую телеграмму о критическом состоянии Рёсукэ она отбила в Майдэн в день его смерти. Она вспомнила, как обрадовалась, когда узнала диагноз. На втором этаже госпиталя располагались три палаты. В конце коридора было окно – убогое окно с видом на убогий городской пейзаж.

Запах креозолового масла заполнял коридор. Эцуко любила этот запах. Каждый раз, когда Рёсукэ впадал в короткое забытие, она ходила по коридору из конца в конец, глубоко вдыхая воздух, насыщенный запахом растворов и дезинфекции. Она не выходила на улицу, предпочитая дышать комнатным воздухом. Может быть, потому, что воздух в госпитале противостоял болезни и смерти, там пахло жизнью. Крепкий, резкий запах медикаментов приятно освежал, словно утренний ветерок.

В течение десяти дней температура у Рёсукэ держалась в пределах сорока градусов. Эцуко не отходила от больного мужа. Жар обволакивал его; Рёсукэ предпринимал мучительные попытки распеленаться, выкарабкаться из собственной жаровни. Словно лидер на финишной прямой в марафонском забеге, Рёсукэ раздувал ноздри, хватал воздух пересохшим ртом. Лежа в постели, он словно воплощал образ атлета, бегущего из последних сил – на дистанции со смертельным концом. А Эцуко была как бы из группы поддержки, подбадривала его: «Ну давай! Еще немного, давай!» Рёсукэ закатывал глаза, пальцами хватался за финишную ленточку – край шерстяного одеяла. Горячий, затхлый воздух вырывался из-под него наружу, словно из-под прелой травы запах спящего животного.

Совершая утренний обход, главный врач госпиталя осмотрел грудь Рёсукэ: она бурно вздымалась из-за порывистого дыхания. Когда врач прикоснулся к ней, то кожа, распираемая от жара, вытолкнула пальцы, словно горячая струя гейзера. Разве болезнь не активизирует жизненные силы организма? Затем главврач приложил к груди Рёсукэ стетоскоп из слоновой кости. От его давления кожа немного побледнела. Вдруг на ней вспыхнули мелкие розоватые крапинки.

– Что это такое? – спросила Эцуко.

– Это, как вам сказать, – нудным тоном начал объяснять доктор, но тут же сменил его на непринужденный и дружелюбный, – это розовая сыпь... От слова «роза» – цветы такие. Сыпь... Потом поясню.

Когда осмотр был завершен, доктор проводил Эцуко до двери и спокойно сказал:

– Это тифозная лихорадка. Брюшной тиф. Мы наконец-то получили результаты анализа крови. Где мог Рёсукэ подхватить эту заразу? Он сказал, что во время командировки выпил из колодца воды. Такие вот дела... Все будет в порядке. Если сердце выдержит... Правда, диагноз немного запоздал, странный случай все-таки. Сегодня мы оформим документы, а завтра отправим в спецотделение. У нас здесь изолятор не предусмотрен.

Профессор, постукивая суставами суховатых пальцев по стене, на которой висел плакат с предупреждением о пожаробезопасности, напряженно ожидал, что женщина с темными кругами под глазами, изможденная еженощными бдениями рядом с больным супругом, разразится причитаниями и жалобами: «Доктор, прошу вас! Не отправляйте его, оставьте здесь! Если вы отправите его, то он умрет по дороге! Жизнь человека важнее закона. Доктор, не надо перевозить его в инфекционный госпиталь! Пожалуйста, позвольте определить его в изолятор вашего института. Доктор...»

Он, наученный опытом, со скучающим интересом ждал, что из уст Эцуко посыплется все эти затасканные слова. Эцуко молчала.

– Вы устали? – спросил доктор.

– Нет! – ответила она самоотверженно.

Эцуко не боялась заразиться тифом. Вероятно, это была единственная причина, по которой она не подхватила инфекцию. Вернувшись к постели супруга, Эцуко села на стул и продолжила свое вязание. Приближалась зима. Она хотела связать мужу свитер до наступления холодов. В его палате по утрам уже было прохладно. Она скинула соломенную сандалию, потеряла ногой щиколотку другой ноги, – на ногах у нее были белые таби.

– Уже выяснилось, чем я болен? – спросил Рёсукэ. Он дышал учащенно, голос был как у школьника.

– Да.

Эцуко поднялась, чтобы смоченным кусочком ваты увлажнить его губы, потрескавшиеся из-за постоянного жара. Вместо этого она прижалась к щеке мужа, которая заросла щетиной. Щеки Эцуко словно обожгло горячим песком.

– Все наладится! Эцуко тебя вылечит, непременно. Только не беспокойся. Если ты умрешь, то я умру тоже. – (Ее никто не тянул за язык, чтобы давать фальшивые клятвы. Ведь свидетелей не было, а в Бога она не верила.) – Это никогда не случится! Ты непременно, непременно выздоровеешь!

Как сумасшедшая, Эцуко прижалась губами к потрескавшимся губам мужа. Из его рта, словно из подземного чрева, непрерывно струилось горячее дыхание. Своими губами Эцуко увлажнила губы мужа. Они были колючие, как шипы на розах, и измазаны кровью. Рёсукэ резко отвернулся от нее.

Ручка на двери, обмотанная марлей, пришла в движение, и дверь приоткрылась. Эцуко отпрянула от мужа. Заглянула медсестра и сделала глазами знак. Эцуко вышла. В конце коридора стояла женщина в меховом полупальто и длинной юбке. Она облокотилась на окно. Это была женщина с фотографии. С первого взгляда ее можно было принять за полукровку: красивые, ровненькие зубы – как вставные; широкие ноздри. В руках она держала букет цветов. Мокрая парафиновая бумага, в которую были завернуты цветы, прилипла к ее красным ногтям. Одна нога была немного отставлена назад. В этой позе таился порыв к движению. На вид ей было лет сорок: ее возраст выдавали легкие морщины, неожиданно выпорхнувшие из уголков глаз, словно из засады. А с первого взгляда ей можно было дать лет двадцать шесть.

– Здравствуйте! – сказала женщина с едва уловимым акцентом неясного происхождения.

Эцуко оценила ее взглядом: мужчины называют таких женщин таинственными незнакомками – а на самом деле кто они? Это обыкновенная высокооплачиваемая ночная бабочка. И она была причиной стольких страданий! Однако сейчас Эцуко была не в состоянии привести к одному знаменателю, к одной причине, к одному субъекту все свои страдания – прошлые и нынешние. В какой-то момент боль Эцуко обрела самостоятельное бытие – отдельное от существования Эцуко (как это ни странно) – и стала развиваться сама по себе. Эта женщина, словно удаленный зуб, не вызывала у Эцуко ни малейшей боли. Подобно больному, который выздоровел после легкого недомогания, а теперь столкнулся лицом к лицу со своей смертью, Эцуко была растоптана одним только предположением, что эта женщина когда-то являлась причиной всех ее страданий.

Незнакомка вынула визитную карточку с мужским именем, сказала, что она пришла из фирмы, где работает ее муж, навестить больного сотрудника. На карточке стояло имя генерального директора фирмы. Эцуко ответила, что она не может сопроводить ее в палату больного, потому что врачи запретили пускать посетителей. По лицу женщины пробежала тень.

– Мой супруг просил меня навестить его и узнать о состоянии его здоровья.

– А мой супруг в таком состоянии, что ни с кем не может видаться.

– И все же если вы позволите увидеть его, то у меня будет что сказать супругу.

– Если бы ваш супруг пришел сам, то я бы позволила ему войти.

– Почему же моему супругу позволительно входить, а мне нет? Я не нахожу никаких оснований. Вы говорите так, что у меня возникают подозрения.

– Ну хорошо! Никому нельзя входить к нему! Теперь вы удовлетворены?

– Очень странно то, что вы говорите. Вы... вы его супруга? Вы супруга Рёсукэ?

– Я – единственная женщина, кто может называть его этим именем. Я его жена!

– Прошу вас, пожалуйста, не отказывайте. Я умоляю вас, позвольте мне только взглянуть!

Вот – возьмите, пожалуйста, эту пустяковую вещь. Она украсит его изголовье.

– Благодарю вас!

– Госпожа Сугимото, можно увидеть его? Как он? Он серьезно болен?

– Никто не знает, выживет он или умрет, – ответила Эцуко, скривив губы.

– Ну раз такое дело, то я войду без вашего позволения, – надменно сказала женщина, отбросив приличия.

– Ну так ступайте же! Располагайтесь как у себя дома, если настаиваете! – сказала Эцуко, встав на пути. Потом через плечо произнесла: – Вы уже знаете диагноз?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.